

РЕЦЕНЗИИ

НОВИЗНА В РАМКАХ ТРАДИЦИОННОСТИ¹

В. СЕРДЮЧЕНКО

Исследовательскому перу В. Я. Кирпотина никогда не было свойственно стремление к «потрясению основ» устоявшихся литературных репутаций — явление, ставшее в последнее время столь популярным. Его работы обязаны своей известностью скорее обратным: академической уравновешенностью тона, добротным социологизмом и уважительным отношением к исторически сложившимся оценкам русской литературы 19 в. Тем более неожиданным может показаться название его последней книги о Достоевском, располагающее скорее к броскому морально-философскому эссе, нежели к солидному литературоведческому исследованию.

Однако первые же страницы книги убеждают в отсутствии у автора всяких притязаний на скороспелые сенсации. Перед нами скрупулезный, «по-кирпотински» выполненный анализ одного из центральных произведений Достоевского, своего рода «книга о книге», с энциклопедической добросовестностью воспроизводящая все интеллектуально-эстетические потенции романа и его социально-исторические предпосылки.

Но это, так сказать, лишь «во-первых». По мере углубления в монографию становится очевидным, что она все-таки не лишена и проблемных амбиций, причем амбиций весьма принципиального толка. Тщательно избегая полемических интонаций, Кирпотин, если разобраться, направляет весь арсенал своих исторических, социологических, философских и эстетических комментариев на осуществление грандиозного полемического замысла — утвердить роман как абсолютное и безусловное идейно-художественное единство, в любой момент превышающее уровень тех обвинений в противоречивости, которые ему предъявляются и предъявлялись. Для этого вначале выдвигается «промежуточный тезис»: по Кирпотину, необходимо заново перемерить площадь романтической действительности, формируемой идеей Раскольникова. По мнению исследователя, она настолько велика, что полностью совпадает с границами всего романа, а в некоторых аспектах — и всего послепереломного творчества Достоевского.

¹ В. Я. Кирпотин. Разочарование и крушение Родиона Раскольникова. — «Сов. писатель», М., 1970.

Но как быть, если внутри самой этой идеи, внутри самой раскольниковской истории ощущается некоторая противоречивость, сбивчатость, вот уже в течение века приводящая в смущение читателей и исследователей Достоевского? Кирпотин ведь и сам цитирует слова автора «Преступления и наказания», из которых явствует, что он сам ощущал эту недоговоренность и признавал необходимость остановиться на «гасовском»² или «наполеоновском» мотиве преступления своего героя. Почему же, как пишет В. Шкловский, тоже, кстати, цитируемый в книге, «Федор Михайлович не сделал этого выбора...»?

Потому, утверждает Кирпотин, что в какой-то момент Достоевскому открылась возможность грандиозного синтеза обеих этих мотивировок — такого синтеза, который сразу возносил бы образ героя на небывалую этико-философскую высоту, не разрушая вместе с тем его художественного правдоподобия. Достоевский мучился не тем, что, начав писать Раскольникова сразу в «гасовском» и «наполеоновском» ключе, не смог затем поставить «дело» на «определенную точку». Его мучило другое — именно одномерность каждой из этих мотивировок. К тому же они не представляли уже ко времени Достоевского нового слова в духовных исканиях эпохи. Сведение Раскольникова к «Гасу» превращало бы роман пусть в гениальную, но всего лишь иллюстрацию к библейской притче о «раскаившемся грешнике»; а перенесение идейной опоры образа на «Наполеона» опять-таки сводило бы этико-философский пафос Раскольникова к художественному воплощению «Единственного» Штирнера. И здесь Кирпотин воспроизводит чрезвычайно важную запись из дневника писателя: «Сначала было опасение..., и все характер не выставлялся, а тут вдруг выставился характер во всей его демонической силе и становятся понятными все причины и побуждения к преступлению».

Итак, то, что мучило писателя как недостаток, внезапно открывается ему возможностью громадного идейно-художественного достижения. И обе мотивировки полностью сохраняются. Следовательно, если самому Достоевскому образ Раскольникова перестал с какого-то момента казаться противоречивым, то не в авторской небрежности следует искать причины, по которым он продолжает казаться противоречивым нам, большинству читателей и критиков «Преступления и наказания».

Никакого противоречия нет, — утверждает Кирпотин, — а есть гениальное художественное единство, но единство настолько высокого порядка, что для его правильного понимания и самому читателю Достоевского

² Федор Петрович Гааз — русский врач-благотворитель 18 в., чей образ неоднократно возникал перед Достоевским в пору его работы над «Преступлением и наказанием». «Почему я не могу быть как Гас?» — спрашивает Раскольников в черновых набросках к роману.

следует напрячь свое философское и эстетическое чутье до предельной диалектической остроты. Тогда окажется, что шиллеровское и штирнеровское начала в Раскольникове не исключают друг друга, но, напротив, сплетаются в некую единую сверхидею гуманистического Мессии, презиравшего человечество и в то же время одержимого к нему любовью и пламенным желанием его спасти.

Другое дело, что Раскольников сам постоянно оказывается не на высоте этой идеи. Будучи порождена его сознанием, она его же первого и искушает примерить на себя одеяния Мессии и тащит его, одновременно торжествующего и содрогающегося, на «пробу». И Раскольников пошел и убил, и убедился, что он не «Наполеон», и что, следовательно, из него не получится и Мессии, но и только: сокрушив его личную человеческую судьбу, идея отнюдь не сокрушила самое себя, и даже наоборот, не перестает подсовывать его сознанию такие факты «из жизни», которые как будто продолжают доказывать ее теоретическую правоту.

Но почему же тогда Раскольников и теоретически так часто сбивается в изложении своего замысла, зачем он сам постоянно путает и себя, и других, снижая высокий мотив своего преступления то до «наполеоновской» его редакции, то до «мармеладовского» желания помочь родным и близким? Потому, — отвечает Кирпотин, — что Достоевский стремился избежать и избежал более серьезного противоречия — противоречия между философской и художественной волей романа. Раскольниковская идея обитала в сфере нравственных и философских абсолютов — Раскольников нищенствовал в чердачной каморке Петербурга; раскольниковская идея судила и спасала оптом все человечество — Раскольников спасал сестру с матерью, сам спасался от Порфирия, любил Соню, ненавидел Лужина; раскольниковская идея представляла из себя выверенный теоретический монолит — ее прозели, одновременно раздавленный ею, но продолжающий в нее тайно верить, вынужден был каждый раз опускать ее до уровня очередного собеседника, разменивать ее на эмпирические частности, а в иные рефлексивные приступы и вообще от нее отрекаться. Трагическая, но правдоподобная ситуация, великая психологическая правда великого художника!

Но вернемся к самой идее Мессии. По Кирпотину, возможность подобного этического феномена, возникшая перед Достоевским в период его работы над «Преступлением и наказанием», настолько поразила его творческое воображение, что он продолжал возвращаться к ней во всех последующих романах — в речах Версилова, Ивана Карамазова, в «человекобоге» Кириллова и, наконец, в наиболее законченном и «открытом» виде, в «Легенде о Великом Инквизиторе». Таким образом, Кирпотин подключает идею Раскольникова к основополагающим зна-

менателям всего послепереломного творчества писателя — вывод, способный очень многое изменить в обобщающих оценках всего позднего Достоевского.

Однако действительно ли выступил Достоевский в данном случае единоличным теоретическим провозвестником нового этического принципа или он и здесь остался на позициях писателя-реалиста, творящего только в соавторстве с действительностью? Для этого необходим уже историко-социологический экскурс, и Кирпотин выполняет его безупречно. Кажется, никто еще не указывал до Кирпотина на массовое возникновение внутри русской интеллигенции такого ее крыла, которое, разочаровавшись в социалистических идеалах 40-х и 60-х гг., осталось вместе с тем в непримиримой оппозиции к существующему порядку вещей. Между тем именно здесь, в этой изверившейся, но продолжающей яростно взыскивать идеала среде вполне могло зародиться в числе новых проектов по спасению человечества и нечто такое, что «выдумалось» Раскольникову. Кирпотин и указывает, что в реальной жизни подобные же умонастроения посещали временами голову Бакунина, Варфоломея Зайцева и даже — в сложных опосредствованных приближениях — самого Белинского.

Итак, возможность «Христа», помноженного на «Наполеона», не возникла только из головы Раскольникова, она была предусмотрена умонастроениями эпохи, она была высокогуманистической по целям и убедительной по логике. В. И. Ленин сказал однажды, что «ложная мысль не обязательно есть глупая мысль». Анализ Кирпотиным идеи Раскольникова мог бы послужить прекрасной иллюстрацией этого высказывания.

Но это, как было сказано, лишь «промежуточный» итог исследования. По мнению Кирпотина, образ Раскольникова предопределяет, «прошивает» романтическую действительность «Преступления и наказания» намного прочнее, чем это может показаться с первого взгляда. Даже такие идейно автономные фигуры, как Порфирий, Свидригайлов, Мармеладов, Сонечка обретают, по Кирпотину, высшую и непротиворечивую меру своей смысловой ценности, лишь будучи рассмотрены сквозь призму главной идеи главного героя.

Свидригайлов, например. Во-первых, блестящие текстологические изыскания Кирпотина на две трети подрывают почти канонизированное представление о Свидригайлове как о некоем Калибане безнравственности и порока. Исследователь заставляет читателя констатировать, что, входя в повествование с репутацией закоренелого злодея, Свидригайлов как-то не совершает на протяжении всего романа ни одного поступка, подтверждающего подобную репутацию, и что даже о его безнравственном прошлом мы узнаем в основном из уст Лужина, в то время как его защитницей во время таких разоблачений почти всег-

да выступает Дуня. Читательская скрупулезность Кирпотина позволяет ему вычислить и то, что этот теоретический изверг совершает на протяжении романа больше добрых дел, чем все остальные персонажи, вместе взятые. Подобные уточнения постепенно превращают аморализм Свидригайлова в то, что правильнее было бы назвать имморализмом, и этот имморализм Кирпотин объявляет итогом-модификацией той же мировоззренческой «системы отсчета», которая в иной модификации породила идею Раскольникова. Одинаковое отношение в окружающей действительности, равный или почти равный духовный опыт наложился в данном случае, по Кирпотину, на две совершенно различные социально-психические индивидуальности, и это привело в одном случае к мощному идеологическому взрыву, в другом — к абсолютному нигилизму. Если Раскольников идеологизирует даже мелочи человеческого быта, то Свидригайлов деидеологизирует само человеческое бытие. По одним и тем же причинам отбросив законы окружающего их «мира», Раскольников и Свидригайлов двинулись в прямо противоположные стороны: Раскольников — к квазигуманистическому «все позволено», Свидригайлов к равнодушному «все допустимо».

Сонечка. Уже давно стало общим местом в достоянии, что Соня призвана служить главным духовным антиподом Раскольникова в романе. Кирпотин согласен с этим, но он решительно отказывается видеть в Соне апофеоз христианского смирения и жертвы. После книги Кирпотина становится трудно объяснить, почему у целого поколения читателей проходило мимо внимания, что вся жизнь Сони — это цепь действенных решений и поступков, активная борьба за благополучие семьи (пассивен Мармеладов), нерассуждающая практическая помощь ближним (рассуждает Раскольников). Исследователь полностью солидаризуется с негодующим замечанием К. Леонтьева об абсолютном равнодушии Сони к внешней, обрядовой стороне религии и блестяще подключает сюда упоминание о том, что «это ростовщица Алена Иванова соблюдает все церковные обряды, отслуживает все молитвы и даже «все свои деньги завещала в один монастырь на вечный помин души» (стр. 170). Поэтому, — позволяет себе стать в единственном месте резким автор, — «...пусть не говорят и не пишут, что нравственность Сони — это нравственность христианская и тем более православная, догматическая» (стр. 146). «Соня, вечная Сонечка знаменует не только страдательное начало жертвенности, но и активное начало практической любви... Соня действует, и она определяет ход событий, и Раскольников вынужден поступать в зависимости от импульсов, получаемых от нее» (стр. 149). Размеры рецензии позволяют лишь оговорить, что текстологическая аргументация Кирпотина делает эту радикальную перемену акцентов в «вечной Сонечке» весьма убедительной. В итоге Соня

предстает у Кирпотина действительным положительным героем, осуществляющим (в пределах своих социальных возможностей) те самые нравственно-социальные задачи, которые лишь ставил перед собой Раскольников.

Наконец, Профирий. По Кирпотину, в философской семантике романа именно Порфирий персонифицирует ту систему морали, в рамках которой имела действительное хождение идея о «раскаявшемся грешнике». Это мораль старого и цельного патриархального мира, которая отложилась в сознании поколений как закон и не абсолютно лишена положительных ценностей. В лице лучших своих поборников, таких, как Порфирий, она даже способна переходить в наступление. «Порфирий ломает и крушит Раскольникова не как судья, а как совесть старого мира» (стр. 288). Кирпотин, таким образом, переадресовывает духовную миссию, приписываемую Сонечке, Порфирию, но при этом показывает, что Раскольников, так сказать, даже в своей неправоте оказывается более правым, нежели ревнитель старого закона Порфирий, ибо он Раскольников чувствует, что этот закон потерял к 19 веку всякое гуманистическое зерно, будучи приспособлен для своих эгоистических нужд народившейся буржуазией. Отсюда и его «нераскаянность», его презрение к самому себе, не покидающее его в продолжение всей каторги и за несколько страниц до конца романа: правда Порфирия, которой он механически подчинился, так и осталась для него фарисейским анахроническим оппортунизмом, а правда Сони, которой он не понял, оказалась выше его «эвклидоваго» сознания.

Так же убедительно реставрирована в исследовании внутренняя соотношенность идеи Раскольникова с идейным содержанием остальных героев «Преступления и наказания». В результате под хаотической, inferнальной фабулой романа мы обнаруживаем изощренно сбалансированную идеологическую структуру, удерживающую в идейно-эстетическом равновесии самую эту фабулу с самыми ее, казалось бы, случайными ответвлениями.

Особого внимания заслуживают социологические разделы книги. Не будучи историками и не рискуя поэтому определять, насколько оригинальна кирпотинская интерпретация русских 60—70 гг., отметим все-таки, что исторические экскурсы автора (особенно в главе «Мир после поражения») проникнуты смелой и концептуальной мыслью. Приступая к анализу того или иного образа, той или иной проблемы романа, Кирпотин каждый раз тщательно вычерчивает, «выкраивает» из эпохи Достоевского тот социально-исторический плацдарм, на котором могла произрасти эта проблема. Сам по себе прием вполне традиционный и в марксистском литературоведении даже обязательный. Но, смеем утверждать, никогда еще в отношении Достоевского не выбирался так точно самый тон социологического анализа. Удивительное дело, чем

выше возносился Достоевский в философском обобщении действительности, тем старательнее некоторые исследователи низводят его оттуда на землю, доискиваясь до буквальных, «пофамильных» адресов его проблематики. В итоге похвальное стремление утвердить в Достоевском реалиста превращает его в средней руки бытописателя. Ничего подобного нет в книге Кирпотина. Взявшись, например, за выяснение социального генезиса Раскольникова, он менее всего склонен погружать читателя в газетноуголовные хроники того времени. Вместо этого он, как мы уже показали, блестяще реконструирует определенную идеологическую совокупность в общем духовном облике эпохи и также убедительно доказывает ее историческое существование. Столь же тонко и вместе с тем точно составлено социологическое досье на других героев романа — в итоге и сам Достоевский предстает перед нами весьма тонким, хотя и своеобразным социологическим мыслителем, умевшим улавливать в укладе эпохи такие социально-духовные типологизмы, мимо которых проходили даже наиболее талантливые его противники-материалисты. Идя в своем социологизме «изнутри» самого Достоевского, исследование Кирпотина позволяет предположить следующий ход творческой мысли писателя: действительно отталкиваясь от единичных, «газетных» фактов действительности, она начинала на предельной скорости их обобщать, идеологизировать — и на каком-то этапе попадала (и художественно реализовывалась!) в сферу реалистического, социально-социологического мировосприятия. После чего она с такой же скоростью устремлялась в заоблачные области этических и философских абсолютов. Исследование Кирпотина минует первый, эмпирический уровень «Преступления и наказания» и, надежно закрепившись на втором его уровне, отважно устремляется затем вслед за автором в самые сложные метафизические построения романа.

Читать Достоевского нелегко. Но после книги Кирпотина с особой наглядностью убеждаешься, какой философской, социологической и эстетической культуры требует Достоевский от своего читателя. В этом смысле книга Кирпотина еще и педагогична: она показывает, что полнокровное интеллектуальное и эстетическое наслаждение от Достоевского может получить только тот, в ком читательский интерес доведен до интереса исследовательского.

Январь, 1971

Шауляйский пединститут

ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

Н. МЕЛЬНИКОВА

Аспирант кафедры русской литературы Б. С. Маснонене опубликовала в 1970 году в «Толстовском сборнике» Тульского педагогического института имени Л. Н. Толстого статью «Роман Толстого «Война и мир» в Литве». Автор раскрывает историю перевода романа на литовский язык, приводит интересные факты. Сама атмосфера культурной жизни Литвы побудила переводить роман Л. Н. Толстого. С 1934 по 1968 гг. вышли четыре издания романа на литовском языке. Автором первого издания был переводчик В. Иоцайтис, следующие три издания переведены Э. Вискантой. Все эти издания отличаются серьезным вдумчивым подходом к оригиналу, верной передачей толстовской мысли, с каждым изданием совершенствовался стиль перевода.

«Эпопея Л. Н. Толстого «Война и мир» тесно связана с целым этапом развития литовской демократической культуры. История ее перевода отражает определенные качественные сдвиги в литовской переводной литературе. Это произведение на протяжении десятилетий будило философскую мысль, непосредственно стимулировало рост литовской литературы и литературной критики».

В апреле 1970 года состоялась защита кандидатской диссертации аспиранта кафедры русской литературы ВГУ им. В. Капсукаса ст. препод. Шяуляйского пединститута В. Л. Сердюченко на тему «Этико-философские предпосылки подхода к человеку у позднего Достоевского». Автор диссертации ставит своей целью

«рассмотреть антропологическую проблематику писателя во всем многообразии сложившихся идей и делает попытку прочесть «изнутри» этой проблематики некоторые другие аспекты мировоззрения Достоевского». Диссертация представляет собой «анализ этико-философских предпосылок «человековедения» Достоевского, как они обнаруживаются в собственных теоретических высказываниях писателя, его героев и в живой плоти его романов». Работа включает в свое содержание три раздела: 1) «Мораль» против «разума». 2) Человек и природа. 3) Человек и общество.

Доцент кафедры русской литературы Э. П. Сафронова в 1970/71 учебном году читала лекции по русской литературе XIX и начала XX вв. для польских студентов-русистов III курса в Ягеллонском Университете г. Кракова. Студенты писали курсовые работы о творчестве Л. Толстого, Ф. Достоевского, Н. Некрасова, М. Салтыкова-Щедрина, А. Чехова, В. Гаршина.

На практических занятиях студенты занимались проблемами типологии русского реализма, с особым интересом польские студенты отнеслись к творчеству Л. Толстого и Ф. Достоевского, стремились понять их не только в аспекте «вечных» общечеловеческих ценностей, но и в их национальном своеобразии, в их сложной связи с освободительным движением в России и особенностями русской переводной культуры.

Доцент Э. П. Сафронова знакомилась с достижениями польской русистики, в частности с серьезной и интересной научной

работой ведущих преподавателей кафедры русской литературы Ягеллонского Университета: проф. В. Якубовского, д-ра доц. Р. Лужного, д-ра доц. Я. Шимак-Рейдевой, доц. В. Пиотровского. Польские студенты интересовались жизнью Советского Союза, современной советской поэзией, студенческими театрами, туризмом.

12 декабря 1970 года кафедра русской литературы ВГУ торжественно отметила 90-летие со дня рождения великого русского поэта Александра Блока. В Колонном зале университета собрались любители поэзии. Доцент Э. Ф. Кондюрина во вступительном слове отметила все растущий интерес к творчеству поэта. С небольшими докладами, посвященными раннему творчеству и мастерству А. Блока, выступили ст. лаборант кафедры Мельникова Н. Н. и студентка V курса Пушина Т. Студенты читали любимые стихи поэта. Вечер закончился поэмой А. Блока «Двенадцать», прозвучавшей в исполнении лауреата Республиканского конкурса чтецов А. Сельчинского.

13 февраля 1971 года состоялся общеуниверситетский литературный вечер, посвященный 100-летию со дня рождения замечательной поэтессы украинского народа Леси Украинки. О своеобразии революционного романтизма Леси Украинки рассказала кандидат филологических наук Л. Б. Длуговская. Доцент П. И. Ужжалньис сообщил о распространении стихотворений Л. Украинки в Литве. Первые переводы на литовском языке появились в 1951 году, в 1957 г. вышла на литовском языке драма «Лесная песня» в переводе В. Бложе. На вечер были приглашены литовские поэты В. Бложе и К. Шимкус. Они прочитали свои новые переводы стихотворений Л. Украинки. Студенты разных факультетов читали стихи поэтессы, полные мужества и нежности.

5—15 апреля 1971 года профессор доктор филологических наук Држбашян из Ереванского уни-

верситета читал студентам русистам и литуанистам IV курса ВГУ курс лекций по истории армянской литературы. Тематика лекций: 1) Новая армянская литература (19 век). 2) Начало XX века. Творчество Ованеса Туманяна. 3) Современная армянская литература. Лекции вызвали большой интерес студентов. Профессор Држбашян встречался с преподавателями кафедры русской литературы, осматривал памятники культуры г. Вильнюса, Каунаса, Траяка.

Доцент Вильнюсского университета П. И. Ужжалньис, специалист по литературе народов СССР, с 17 марта по 5 апреля читал лекции в Ереванском и Таджикском университетах. В Ереване был прочитан факультативный курс «Пути развития литовской литературы», со времени зарождения литовской литературы до новейшей литовской советской литературы.

В Таджикском университете г. Душанбе доцент Ужжалньис П. И. читал курс «Литература народов Советской Прибалтики», раскрывающий историческое своеобразие формирования литературы прибалтийских народов. Особое внимание было уделено советской литературе народов Прибалтики, отразившей расцвет культуры латышского, эстонского и литовского народов в единой братской семье народов Советского Союза.

К юбилею Ф. М. Достоевского в издательстве «Вага» в 1971 году вышла книга доцента кафедры русской литературы Червинскене Е. П. «Достоевский». Это первая монография о жизни и творчестве Ф. М. Достоевского на литовском языке. В ней сочетается эмоциональный рассказ о жизни и личности писателя с освещением основных проблем его творчества и особенностей стиля. Ф. М. Достоевский показан как человек титанической духовной силы и в то же время не лишенный слабостей; как гений, создавший шедевры искусства.

СВОЕОБРАЗИЕ РЕВОЛЮЦИОННОГО РОМАНТИЗМА ЛЕСИ УКРАИНКИ.

Тезисы доклада на Юбилейном вечере, посвященном 100-летию со дня рождения ЛЕСИ УКРАИНКИ.

Л. ДЛУГОВСКАЯ

Романтика Леси Украинки так же, как романтика Горького, неотрывна от реалистического изображения жизни, развивается в направлении исторической и социально-психологической конкретности. В то же время она более заметным образом, чем горьковская, тяготеет к литературной и философской традиции XIX века. Лесья Украинка глубоко восприняла важнейшие антропологические понятия, вызревшие в сознании ее предшественников, прежде всего — понятие о цельности как естественном состоянии человека. Именно поэтому писательнице удалось по-своему передать громадный общечеловеческий смысл и всемирно-историческое значение тех социальных сдвигов, которые происходили в России и на Украине в конце XIX — начале XX века.

В лирике Леси Украинки раскрыт один из положительных героев эпохи — интеллигент-демократ, близкий к лагерю пролетарской революции. Это характер сильный, зрелый, но не лишенный внутреннего разлада. Оптимизм соединяется в нем с трагическим восприятием контрастов жизни, принципиальность — с тягостным предчувствием неизбежных кризисов духа. Лесья Украинка объясняет эти черты своего лирического «Я» сложностью и ускоренным темпом самоопределения личности в современных условиях, т.е. в обстановке революционного подъема, с одной стороны, и острой идеологической борьбы, с другой. Преодоление разлада она мыслит не в возврате к интуитивному, а в продолжении идейно-нравственного развития.

Используя опыт реалистов-психологов предшествующей поры, Лесья Украинка изображает становление личности как непрерывный процесс. Но она акцентирует не столько «текучесть» сознания, сколько его позитивную устремленность, необходимость непрерывного подтверждения сделанного выбора. Так поэтесса конкретизирует перспективы движения современника к цельности и гармоничности («Fiat pox!», «Сон в летнюю ночь», «Полночные думы», «Меня враждебная вновь одолела сила...», «Другу на память», «О, знаю я, немало прошумит...», «Кто не жил средь буйства бури...»).

Оригинальна у Леси Украинки форма образного утверждения идеала. Писательница обращается к истории, к литературе и фольклору разных эпох и народов. Она доводит до полной эстетической завершенности критерии прошлого, выразившиеся в «мировых» сюжетах, в народных легендах («Мечты», «Дочь Иефая», «Старая сказка», «Роберт Брюс», «Изольда Белорукая» и др.). Так, характер воителя изображается в соответствии с духом средневековых баллад, сложившихся в то время, когда древний обyczaj поединка еще сохранял свое значение, но был уже более очеловечен, более связан с индивидуальным переживанием («Трагедия»). Величие красоты, как творческой силы, передается с помощью поэтических народных сказаний («Лесная песня»). Мощь свободной мысли доведена до гротеска в эпизоде столкновения еретика с церковью («Грешник»). Представление о

прекрасном человеке выражено не в одном каком-либо образе, а во всей галерее романтических персонажей. Поставленные в ряд, они символизируют многогранность человеческой природы и неуклонное движение героя-борца «вперед и выше».

Проведенный анализ подтверждает вывод литературной науки о том, что в творчестве Леси Украинки складываются элементы искусства нового типа — социалистического реализма.

LITERATŪRA XIV(2)

ЛИТЕРАТУРА XIV(2), Издательство «Минтис», Вильнюс, 1974

Redaktorė R. Šturo

Viršelis dailininko A. Kubiliaus

Techn. redaktorė V. Čečytė

Korektorės: A. Kutavičienė, Ž. Morozova

Duota rinkti 1972.III.29.

Pasirašyta spaudai 1974.II.14. LV 00753.

Popierius spaudos Nr. 1, form. 70×90¹/₁₆. 12,29 sp. l., 13,57 apsk. l. l. Tiražas 800 egz.

Kaina 85 kp

Leidykla „Mintis“, Vilnius, Sierakausko g. 15.

Spausdino Valst. K. Poželos v. sp., Kaunas, Gedimino 10. Užsakymo Nr. 978.